

Наступает зима, та самая, в которую он появился на свет, и ты идёшь по снегу, невольно напевая его голосом, — немного нарочито мужским, каким обычно говорят или поют маленькие круглые мужички типа Коли:

*А это, кажется, зима, зима, зима...
Стоят дома, как терема, как терема...*

Сам по себе чрезвычайно несерьёзный в жизни, он всегда пытался выглядеть серьёзным, деловым таким, нахохленным, нахмуренным, а сквозь всё его существо так и прорывалось извечное детское баловство.

Едешь в поезде по Транссибу и непременно напеваешь:

*Эх, Транссибирская, вынеси, выручи,
Что мне домашний покой!
Все повороты судьбы я не выучил —
Я ж непутёвый такой!*

Он мог обидеть ни за что, и ему сходило с рук, занять денег и не отдать — тоже прощали, всё равно, что одолжить Рубцову: не станешь же требовать с человека, способного написать:

*Что это вьётся по ветру? Листопад.
Словно дерётся за веру старый солдат.
На почерневшие стройки
И на суглинок сырой
Пишет прощальные строки
Клёнов строй.*

Его музыка была совсем не такой, как у всех бардов, не на один привычный и шаблонный мотив трень-брень-гитарка. Он старался придать каждой песне свою краску, своё тепло или свой особый пронзительный холод. Иная песня, одетая в особый мотив, как в шубку или платье, забиралась в сердце, чтобы там навсегда поселиться. И вот то и дело высовывается оттуда, и ты поёшь, стараясь подражать Колиному голосу:

*Был он брат, как брат, пока мал,
Я ж качал его в колыбели,
На краю земли, в Парабели,
Наш отец страну поднимал...*

Про войну он сочинил и спел лучше очень многих:

*А на пулемёты неохота им была,
Но всё равно пехота в рукопашную пошла,
Вот она, родная, в рукопашную пошла
И во чистом поле подчистую полегла.*

Или про Чечню, или про жизнь нашу нескладную русскую, про уют и ненужность в родной стране тех, кто эту родную страну так любит... Много про что.

Николай Александрович Шипилов родился 1 декабря 1946 года в Южно-Сахалинске, а умер 7 сентября 2006 года в Смоленске, то есть жизнь его протянулась от крайнего востока нашей страны до западных её пределов. Мастер короткого рассказа. Мастер стихотворения, жаждущего, чтобы его положили на музыку. Как у всех нас, далеко не всё у него получалось. И не получилось пожить подольше — даже до 60 лет не дотянул. Но образ его навсегда останется в нашей памяти, в памяти русской литературы, ребёнком которой он был.

В память о нём мы публикуем один из лучших его рассказов.

Александр Сегень

Такие дома строили у железнодорожных станций, в речных портах. Двухэтажные, из серых и чёрных плах, с окнами в суриковой облицовке. Летом во дворах этих домов пахнет помойками, и если бы не повсеместная кленовая, тополевая, бузиновая зелень, если бы не цветущие палисадники, то пахло бы дезинфекцией, креозотом и теми заведениями, где однажды меня поразила надпись: “Здесь были второгодники: Фёдорова и Николаев”.

Во дворе дома, о котором я хочу рассказать, стоят вкопанные в землю столики, и, как только с ближайших заводов — бетонного, асфальтного и щебёночного — пойдёт первая смена, за столиком появляется зубастый и до голубизны выбритый старик, который ходит со скребком, ломиком и метлой. Его зовут Графином, и по утрам этот знающий себе цену человек чистит общественные уборные, вечером читает книги и играет в лото.

Выходя из подъезда с вечно поломанной дверью, он несёт с собой три мешочка. В одном из них — трубочный табак или махорка, обычно Моршанской табачной фабрики; в другом — карты для игры в лото, а в третьем — жареные семечки. Графин курит много, и его всегда сопровождает крепчайший запах табака. Говорят, что по этому запаху в молодости его всегда находила жена, где бы он ни искал уединения.

Примерно в это же время при ясной погоде и в лёгкое ненастье на балкон дома напротив вывозят в кресле-коляске начальника одного из цехов бетонного завода, Глебова, у которого весной разыгрался страшнейший ревматизм. Человек он весёлый, хотя и немолодой, любит петь народные песни, при его красивом баритоне можно было бы давать сольные концерты. Глебов всё пытается создать при заводе хор. Однако на репетиции редко приходят люди, имеющие голос. Болезнь развила в Глебове давнюю страсть к рисованию: он ставит на балконе сконструированный им мольберт и с удовольствием рисует, отвечая на приветствие даже не кивком головы, а только улыбкой.

Выждав некоторое время после выхода Графина, во двор барыней wpłyвает Александра Григорьевна, бывшая бухгалтерша, женщина бывалая, курящая папирсы. Она седая, терпеливая в разговоре, но не мрачная. Скорей спокойно-загадочная. Что-то киношное есть в её милом наряде: она любит сиреневые и лиловые тона, тоскует о кредешине и какой-то броши, утерян-

ной несколько лет назад при пожаре в этом доме. В этом сезоне её платье украшает розочка из камня.

Графин и Александра Григорьевна здороваются. При этом Графин спокоен, а Александра Григорьевна часто поправляет в седых волосах скобу гребёнки.

— Чо, Григорьевна? — говорит Графин.

— А что вас интересует? — деликатно отвечает та.

— Сыграм? Метал колоду банкомёт, и пот по лысине струился!

Александр Григорьевна даёт поуготоваривать себя, ссылаясь на то, что и народу мало, и деньги надо менять в магазине. Графин на это вытаскивает из кармана галифе полную горсть медных монет.

— Сколько тебе разменять?

— Слушайте! — зачарованно говорит Александра Григорьевна. — А они в самом деле у вас в кубышках хранятся?

— У меня в подвале монетный двор, — хитроvanом рассыпается Графин.

Александра Григорьевна уходит за кошельком, где, по её словам, остатки пенсии. Графин кладёт на стол горсть новеньких монет. Они отражают солнце и уровень его благосостояния.

В одном из окон второго этажа появляется голый по пояс Федя Костенин. Он растирается полотенцем, весело оглядывает двор и кричит:

— Графин, выходить, что ли? Давай мешай получше, я тебя нынче раскулачу!

Графин молчит, пускает клубы дыма. В трубке и груди его булькает, похрипывает никотинная жижица.

Молодуха Рязанова одной рукой качает коляску с ребёнком, а другой двигает камешками по карте. Александра Григорьевна старательно сдерживает волнение, она курит и нарочито равнодушно смотрит на вечернее солнце или поглаживает дворового пса Жулика, который положил к ней на колени многострадальную голову. Млея от ласки, он вприщур глядит, как чья-то хозяйка снимает к ночи бельё с верёвок, натянутых во дворе между столбами. Вдруг взлаивает и бросается к подошедшему к столу Гане Лихачёву. Все обращают на Ганю внимание, потому что знают: Ганя должен находиться в больнице.

— Ты, Ганимел, откуда в наших здоровых краях? — не отрываясь от игры, спрашивает Федя. — Отпустили, что ли? Режим нарушил?

— Сбежал я из больницы, — хрипит Ганя. Его почти не слышно.

— Что, что? — переспрашивает Федя, сморщив лицо.

— А! — машет рукой Ганя, горестно покачивает головой и удаляется к себе на второй этаж в комнату на подселение.

Возле стола всё время крутится подросток по прозвищу Ермолай. Он нервно улыбается, почёсывает то голову, то руку, то подбежит к графиновским картам, то к рязановским, то крикнет:

— У вас же есть! Чо не закрываете? Александра Григорьевна, закройте бычий глаз!

— Десять?

— Ну да, десять — бычий глаз!

А в это время Графин продолжает кричать:

— Каря-баря! Смерть поэта.

— Что за каря-баря? — расстроено спрашивает Александра Григорьевна, бегая взглядом по картам. Графин вежливо отвечает:

— Туда-сюда, как свиньи спясть...

— Шисят девять, — радостно поясняет Ермолаев и восхищённо следит за рукавами Графина.

— Ты кричи по-человечески, хрыч! — сердится Рязанова. — Надоело в кубики заглядывать!

— Сороковка-луковка!

— А смерть поэта? Смерть поэта-то? — совсем расстроилась Александра Григорьевна.

— Фу ты беда! — Графин недовольно опускает руки с мешочком. — Смерть поэта — тридцать семь!

— Ты вот что, Графин, — говорит Федя Костенкин, — Ты не выдумывай... Вчера говорил на тридцать семь, что это вдова погибшего матроса, позавчера — до войны четыре года, в пятницу ещё как-то пыхтел!..

— В пятницу он говорил: даёшь больничный!

— Как? — не понимает Александра Григорьевна.

— Ну, повышенная температура! — поясняет Ермолаев, и улыбка опоясывает его лицо от уха до уха.

— Всё равно, Графин, не по-людски кричишь! — успокоенно говорит Федя.

— А ты соображай, в институте учишься, — вступает за Графина Ермолаев и получает от Федя звучный подзатыльник, но лишь мимолётной тенью отражается это на его лице. Он, кажется, только развлёк его. Чтоб немного помолчать, Ермолаев находит в кармане гайку “на пятнадцать” и мусолит её во рту.

Слышится песня: “...Там под солнцем юга ширь безбрежная-а-а... Ждёт меня подруга чуть-чуть нежная-а...” — и к столу подъезжает на велосипеде Митяша Бабаёнок, маленького роста человек, который, напиваясь с полочки, закапывает заначку под каким-нибудь столбом во дворе, а утром ищет тот столб, и если даже находит его, то не находит заначки. На это есть Ермолай — молодой санитар пригородной больницы. Правая штанина старомодных Митяшинных брюк перехвачена у манжетов прищепкой, чтоб не заело штанину в цепь велосипеда. Митяшу трудно понимать новому человеку: он не может произносить шипящие.

— Вдорово, мувыки! — говорит он и развалистой походкой моремана подходит к каждому представителю мужского пола, широко размахивает и жмёт приветственно руку, а Ермолаеву говорит: — Уди, урод, парфывый: бандит невоверфенлолетний... Проньра...

Потом звенит в кармане мелочью:

— Фыграем?

— Жди низа, — говорит ему Графин и кричит: — Венские стульчики!.. Молодая!..

— Довдеффа тут, — громко говорит Митяша и всем поочерёдно заглядывает в глаза. — Фкоро ффем надо на юг подаватфа...

— Ой, на юг! — ехидничает Рязанова. — Тебя только па юге не выдали... Может, ещё в Италию захочешь, в Ниццу... Мало тебе тут Нелька морду-то царапает, а то бы как раз на юг...

Графин кричит попроще, когда начинается разговор. Внимание Митяше — любят его трён.

— Это он кога вчера сушиться вешал на бельевую верёвку, — сказал Федя Костенкин и двинул фишку по карте. — Он его своей велосипедной прищепкой, а тот не будь дурак — да когтями...

— Пип, — кричит Графин, ни разу не улыбнувшись. Рязанова закрывает цифру пятнадцать и продолжает разговор с Митяшей:

— На юг ему захотелось... Там и столбов-то таких нет, где деньги будешь прятать?

— Дура, — говорит Митяша. — Бевать офюда надо: один ход — в дымоход! Ффем!

— А что такое? — спрашивает Александра Григорьевна.

— А то, фто чкоро на наф ледники ф Февера пойдут! Уфёные люди говорят, вымервнем тут ффе... ага...

— Беда-то, — со страхом глядит на Митяшу старушка Цутуночка. Она каждый вечер с печалью смотрит на играющих, но не принимает участия в игре и не произносит почти ни слова.

— Беда, — соглашается Митяша. — Только другие уфёные говорят, фто, наоборот, мол, тропики тут будут, ага... В кавтой лыве крокодил ф крокодилифой будут проплывать... Как пьяна нашьеффа, в лыву-то падеф, те — ам! — и федят. Ага...

— Ох, дурошлён! — хохочет добродушный Федя. — Ох, не мешай, я сейчас серёдку кончу!

Митяша послушно замолкает, и снова все погружаются в игру. Графин всем накричал по квартире. Митяше быстро становится скучно. Он говорит Ермолаю:

— Эй, урка... Тебе в магазине водку дают? На, подлефт, деньги, фьведи на велифапеде! Фьведиф? — И идёт на него, растопырив руки. Ермолай не боится и хохочет. Он уже мусолит во рту колпачок от шины Митяшиного велосипеда, а гайку отдал Рязановой вместо фишки.

— Жулик, фас! — говорит он, указывая на Митяшу. Жулик зеваёт и подходит обнюхать Митяшу. Тактик от лото Графин, желая выиграть, начинает шифроваться:

— Тронь-ка!

— Три! — переводит Ермолаев.

— Пора любви...

— Восемьдесят девять! — ухахатывается мальчишка.

— Парашютист...

— Шестёрка! — Ермолай плачет от восторга.

— Стой! Что за парашютист? — Федя встаёт из-за стола. — Это почему: шестёрка — парашютист?

— Это почему: шестёрка — парашютист? — спрашивает и Рязанова.

— Потому что “шестёрки” параша носят и у параша спят, — отвечает Графин.

— Гений! — подаёт с балкона голос Глебов. — Это шутка гения!

— Если шестёрка, то я кончил серёдку! — говорит Федя. — Проверяйте.

Графин начинает проверять, называя числа обычными именами. Но распахивается окно Ганиной комнаты, и женщина в бигудях кричит:

— Лю-у-у-ди-и! Скорей! Ганька повесился-а-а! У-у! Гаврилушка-а! Скорей! Лю-у-уди-и! — И из комнаты слышится её топот, грохот посуды. На некоторое время сидящие за столом оцепнели. На крик из дворовых сараев углярок выскочил второгодник Николаев и встал в проёме двери, а за его спиной, то подныривая под мышку, то возникая над плечом, мелькало чьё-то белое, в кудряшках, лицо.

— Смотрите! — срывающимся в смехе голосом закричал Ермолай. — Николаев с Фёдоровой уроки учат!

И сразу всё пришло в движение: все бегут, разминая затекшие спины: вытаскивают Ганю из петли, отхаживают, поят водкой. Ганя лежит на тахте, и когда открывает чёрные от зрачков глаза, то из-под ресниц его выбегают две оживлённые слезинки. Рязанова упала на крутом лестничном марше и разбила белое колено. Александра Григорьевна, обняв себя за локти, стоит, прислонившись спиной к простенку меж окнами, жуёт мундштук. Ганина жена убирает следы погрома на кухне общего пользования.

— Фто, Ганя? — тихо спрашивает Митяша. — Фто плафедф: больно? Я ведь думал, друг, ты в больнитфе...

Графин протягивает Гане трубку.

— Ну, курни, Гаврило, да выходи в лото играть, пока на больничном...

Ганя шепчет, осторожно поматывая головой:

— Нет мне жизни без голоса... Не шутки это... Вот так вот...

Жулик пыгается лизнуть его в рот.

— Опять он про свой голос! — слезливо говорит Ганина жена и, швыряя на пол мокрую тряпку, тыльной стороной ладони чешет нос: — Опять про голос! Да какой там голос-то был? Тоненький, как у комарика, а? Смотрите, люди, ведь как на рыбалке весной голос потерял, так с ума мужик сошёл! Не могу, грит, не петь! — Между делом она даёт пинка Жулику, и тот понятно покидает жилплощадь. — Одна, мол, радость была: голос, грит, как, грит, запоёшь, где захочешь! — продолжала она. — Ну, не дурак ли?

— Мне без голоса не жить, — едва слышно твердит своё Ганя.

— Ты что, Магомаев? — воспитывает Рязанова. — А, Гань? Это тому голос потерять — куска хлеба лишиться, а ты-то крановой! Зачем же так переживать, Га-ня!

А Ганя своё:

— То ведь как запою, запою!.. А теперь?

— Ты, Гань, глупый... — занюхивая остатки Ганиной водки свежим воздухом, говорит Митяша. — Уфёные фкоро придумают лекарфтво: по-пёф — и пой!

— Ага! — щурится Рязанова. — По рушь семнадцать, что ли! Так ты и с одеколона, Митяша, поёшь...

— Не, — возражает Митяша, — с одеколофки я фтрелять рвуфя! А наука-то ффяф — ого! Видел, по телевизору показывали, как одному от ноги палетф отмякали, а к руке прифобафили! А? Ого!

— Ну, я пошёл, — говорит Графин, выждав паузу. — Пошли, Фёдор, слышь? Кепка-то с деньгами там, на столе...

— Да я побуду! — ответил Фёдор. — Теперь уж поздно...

Ганя ковыряет ворс ковра на стене.

— Эх, ребята-ребятеш! Эх, в армию бы, братчики, уйти, что ли? В армию как хорошо-то, братцы...

— Чо ковёр-то ковыряешь? — всё так же слёзно, но уже зло говорит жена. — А нынче чуть телевизор не разбил! Чо он ему, телевизор-то, сделал, а? — поворачивается она к Графину.

— У телевизора и спрашивай, — холодно отвечает Графин и медленно направляется к двери.

— Господи, господи! — слезоточит Ганина жена. — Хорошо, хоть соседей дома нет...

— Да, — говорит Александра Григорьевна, — пожалуй, и я пойду. Выздоровливайте, Гавриил, простите, отчества не знаю... Что же вы? Голос к вам вернётся... У нас на фронте был лейтенант Коля Болтавин: так рисовал! Рисовал бесподобно! А впрочем, что это я?.. Ну, вот... Главное, всё в порядке! Счастливо! — Она уходит на цыпочках, комкая носовой платок из тонкой ткани.

— Мувк, а плафет, как... дитё, — говорит Митяша, — выходи играть...

Все уходит. Ганя остаётся один и украдкой от жены сморкается в подол своей длинной алой майки.

Солнце скраснело и стыдливо пошло прятаться за березняк. Цугуночка сходила домой и обула стёганные бурки. Рязанова отвела домой ребёнка. Удивлённо оглядев спущенные шины велосипеда, Митяша уехал на нём в сторону магазина.

— Что-то сегодня народу... маловато, — зевнув, не открывая рта, сказал Федя. — Восьмой час уже... Эй! Глебов! Поиграть не хотите?

— Во-о-н, за сараями Кит с Ромкой Голубевым идут! — говорит им из коляски Глебов. — Им всё равно: страдать иль наслаждаться, а я поработаю!

— Черти, — говорит о приближающихся новеньких Федя, — опять где-то пили! Как вдвоём — так пьют! В субботу первенство дороги, а какие из них футболисты... Прозяпаем...

— И к бабке не ходи! — соглашается Графин. — Кит, он ведь ни украть, ни покараулить. Работать надо, гнуть, ломить, а он футболом промышляет. В июне колхозникам пендель не забил, а оформлен ведь по четвёртому разряду бетонщиком на полигоне. Правильно я говорю, Фёдор? На нас, бывало, если люди смотрят, так мы с себя семь потов сгоним и за бесплатно. Потому и заработанным денюжкам цену знаем.

— А вот вы, Графин... Вы ведь совсем не пьёте? Я имею в виду спиртное, — спрашивает Александра Григорьевна.

— Мне и с табаку хорошо, — отвечает Графин. — Ну что, сдавать карты? Или этих подождать?

Подшли парни. Оба рослые, длинноволосые, на полных губах улыбки, в глазах муть из винного отдела.

Графин сказал Ромке:

— Садись, брат-кондрат, составь партию... А ты, — повернулся он к Киту, — постой, полюбопытствуй...

— С чего это? — возмутился Кит и подбоченился.

— С того, что с грызунами не играю. — Графин мешал кубики в мешке. Никто не мешал ему вести разговор, слушали, зная, что Графина с толку не собьёшь.

— С какими грызунами? Мы грызуны? Нам по двадцать три года!

— А вот с теми грызунами, которые по тридцать лет с мамкиной шеи кору грызут, — ответил Графин, сдавая карты. — У тебя морда, как у ничего сума, а работать не хочешь. Ишь, пришёл на бутылку выиграть! У меня выиграешь!

— Ха-ха! — наигранно усмехнулся Кит. — У тебя-то? У суслика пузатого?

— Я пузо на свои отъел, а если твою поганую конейку возьму, так потом руки чем отмывать, соляжкой?

— Ну, давай я сяду! И выиграю!

— Раньше сядешь — раньше выйдешь, — говорит Графин.

— А что эт меня посадят? Я чо, ворую?

— Может, и воруюшь, — говорит Графин, считая банк в кепке. — Кто у бабки Цугуночки мешок бутылок из сарайки умыкнул?.. Все поставили?

— Все, — нестройно ответили игроки.

— Значит, боишься меня принимать, — насмешливо шурился Ромка и, доставая бумажник, высыпал возле Кита горку мелочи. Графин засомневался.

— Ну, так и быть, садись. Поживём — увидим...

— Только кричать без фокусов, — поставил условие Кит. — По кругу, по количеству карт... А то как хочу, так и схвачу! — И подмигнул Графину.

— Проверим, зачем на твоих плечах этот безобразный чан с ушами, — говорит Графин и начинает выкрикивать номера бочонков: — Семью семь, футболист... Девятью девять... Без шестнадцати двадцать... Четыре в кубе — ваших нет...

— Стой!

— Сады Семирамиды... Новобранец...

— Стоп, Графин Графиныч!

— Шишки-пышки — торговые излишки... И один в поле — двое.

Кит, заискивающе хохоча, встаёт из-за стола:

— Скажи, что за шишки-пышки — и мы пошли!

Вышедший из дома с куском халвы Ермолай сразу пояснил:

— Пуд — торговые излишки! Шестнадцать!

Графин прекратил кричать и многозначительно пыхтел трубкой. Александра Григорьевна поощрительно поглядывала на его физиономию, выныривающую из дымного облака. Кит обиделся:

— Пошли, Ромка, от этого... афериста...

Игра заканчивается в сумерках. Голуби гомозятся на коньках крыши — готовятся ко сну. Вышла на балкон мать инженера Глебова и увезла его в квартиру, потом унесла мольберт. Это значит, что по телевизору начинается продолжение многосерийного фильма. Из окна Рязановой слышится голос её мужа:

— Мама-а! Где моё китайское бельё?

— Зачем ему летом китайское бельё? — удивилась Рязанова, но ушла, потирая вымазанную зелёнкой коленку и позванивая мелочью.

— Ну всё, — собирает свои мешочки Графин. — По-немецки — цацкигецки, а по-русски — по домам...

Александра Григорьевна послушно кивает головой: да, пора по домам. Ермолаев с Жуликом удаляются в сторону сараев. Цугуночка облегчённо вздыхает, освободившись от добровольной повинности, и тоже уходит, подпирая рукой поясницу. Передний край подола её платья из цветастой фланельки едва не волочится по земле.

Остаются Графин и Александра Григорьевна. Некоторое время молчат, смотрят на столешницу, избитую костяшками домино, изрезанную именами влюблённых. Неловкое молчание нарушает Графин:

— У тебя, Александра Григорьевна, лампочки на сто пятьдесят свечей нету? У меня есть, да слабенькая... — спрашивает деловым тоном.

— Не знаю, — отвечает Александра Григорьевна, поднимая к нему лицо, — я в этом не понимаю... А зачем вам?

— Да вернуть бы в фонарь-то на столбе. И по вечерам можно бы играть, правда?

— Ой, не знаю! У меня уж и так голова болит...

Разговор их ровен, неспешен, они не торопятся каждый к своему одиночеству.

— Болит голова оттого, что ты не выигрываешь, Александра Григорьевна, волнуешься...

— Как же играть, чтоб не волноваться? Для того и игра, наверное.

— Это точно, — соглашается Графин, — не ради копеек — общества ради. С этими телевизорами-то как люди здороваются, позабудешь. Кто хозяин в доме? Телевизор... Ишь, как Ганина баба сегодня взвилась из-за телевизора!

— Что это с Гаврилом-то сегодня? — Её тянет к Графину, к разговорам в летние вечера, да поздно менять эту соседскую дружбу на непривычную семейную жизнь.

— Он, Ганька, сердечен уж больно... — Графин, будто стесняясь своих слов, поднял с земли щепку и поскоблил ею подошву туфли, сказав при этом: — Этакую срамоту производят с хорошей кожи... Кожа-то натуральная! — Подумал над сказанным и, решившись, продолжил: — Сердечный человек, прямо дурачок не дурачок, а умным назвать язык не повернёшь. Вот после войны сразу, когда завод этот бетонный-то строили, тут ведь и лес рядом стоял... Про нас говорили: над лесом, мол, живут, ага. Коров, овец, свиней люди держали. Ну, и пастушок тут один был, Санька Кропотов... Выстругал он себе раз в лесу палку из молодой сосенки, фонариками-то её украсил, узорами. Вот гонит вечером стадо по посёлку, а шантрапа в чикку играет возле почты. Увидали палочку-то эту, навалились всем гамузом — и ну колотушку отымать. Тот кряхтит, стонет горюн, а палчишку эту не отдаёт. Да... Тут — я в окошко глядел — выскакивает Ганя, а было ему лет, однока, пять-шесть. Смотрю, он давай этих обидчиков пастушковых кулачками колошматить, давай их за волосья таскать! Суразёнок суразёнком: какая-то на ём майка зеленущая до пят, под ей, посмотрю, и трусишек-то не было, голова ступеньками стрижена, а ишь жалостливый какой! Кто-то ему раз да два — он с ног. Встал — воеет, а сам всё за пастушонка заступается, за слабого, стало быть... Таким людям надо большими вырастать, а он, видишь, какой вырос? В чём душа вмещается? В песне, Александра ты моя Григорьевна... Как весна, бывало, завалинки подсохнут, так Ганька уже сидит на крыльчке барака и чешет на гармошке! Старухи его подхваливают, а он и расстараться радёхонек-рад... Всех парнишка осчастливить хотел. Ан нет, товарищ ты мой! На Любке вот женился — пожалел. Не все, дескать, такие подлецы, как те, с кем ты гуляла. А она — одно слово, майорша... С солдатами из лесу не выходила. Ганя, как поп: всё поёт да кадиллом машет, да “веруйте” кричит. При тебе уже женился-то, сама знаешь. Связался младенец с чёртом... Так-то, брат-кондрат, я понимаю... Эхма, да не дома, дома, да не на печке, на печке, да не моя, — заключил Графин, уперев руки в колени и глядя в редкую мураву двора затуманенным растерянностью взглядом.

Александра Григорьевна вынула гребёнку из слабых волос, задумчиво погрызла её уголок, расфокусированными зрачками поглядела, как Графин выколачивает трубку о лавочку, и сказала:

— Эх, Графин, Графин! Курили бы вы поменьше! Вы на войне начали?

— Я? — переспросил, окутываясь дымом, её собеседник. — Мне от курения польза теперь одна голимая... Помирать не хочу, а брось я курить, как Гриша Клюквин, и что? А курить, как Гриша Клюквин, и что, и что? А курить начал ещё, когда у хозяина жил! Давненько и отсюда не видать, Александра Григорьевна... — Графин встал, поправил за поясом рубашку, повёл широкими плечами. — Приказываю, — сказал он, не умея шутить, — тебе, Александру Григорьевна, иди искать лампочку в загашниках! А я пойду погляжу у сараев лестницу.

— Нет, — ответила она, — я, наверно, кино пойду смотреть. Документальное про войну. Может, увижу кого из своих! — извинительно улыбнувшись, она встала, поёжилась.

— Колю Болтавина? — пробублькала Графин ревниво.

— Эх! — вздохнула Александра Григорьевна, тронув брошь на груди. — Коля Болтавин, Коля Болтавин...

— Ну, вольному воля, прощённому — рай, — без обиды уже отпустил её Графин.

Спустилась темнота. Светятся окна, мелькают тени людей, кошек, собак и летучих мышей, слышатся девчоночьи взвизги и разбойничьи посвисты малолетних грабителей огородов, сильные, одушевлённые ночью гудки заводского мотовоза. Кто-то бегаёт по крышам притулившихся друг к другу дровяников. Ближе к полуночи в уже освещённый заботами старого Графина двор прибрёл пьяный Митяша. Он подошёл к столбу с фонарём и стал разгребать щёбёнку под ним. Достал из кармана мелочь денежную и несколько смятых бумажек малого достоинства, положил всё это в ямку и стал закапывать, прихлопывая землю, как ребёнок, который строит домик из влажного песка. Из сараев слышится сдерживаемый смех. Невдалеке от Митяшиной захоронки выросли силуэты мальчика и собаки.

— Эх, посмотрите, Иваны, как гуляют тфыганы, — закричал Митяша, проходя под Ганиным окном. — Гавря-а! Гавря-а-а! — уже слабей прокричал он, вяло махнул рукой и стал уходить в темноту между домами, бормоча: — “Только ферти полофаты попадаютфа одне...”

К заветному столбу подбежал Жулик, обнюхал его, бодро поднял левую лапу и прыснул на столб, умилённо поглядывая на зевнувшего три раза рядом Ермолая...